



Себастьян

Лев Николаевич Толстой

**Ягоды**  
(Рассказы)

# Лев Николаевич Толстой

## Ягоды

Стояли жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листья. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась, в низах перекликаются коростели, в овсах и ржах то хрипят, то щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево случайным слабым дуновением.

Крестьяне доделывают постройки, возят навоз, скотина голодает на высохшем пару, ожидая отавы. Коровы и телята зыкаются с поднятыми крючковато хвостами, бегают от пастухов со стойла. Ребята стерегут лошадей по дорогам и обрезают. Бабы таскают из леса мешки травы, девки и девочки вперегонку

друг с другом ползают между кустов по срубленному лесу, собирают ягоды и носят продавать дачникам.

Дачники, в разукрашенных, архитектурно вычурных домиках, лениво гуляют под зонтиками, в легких, чистых, дорогих одеждах по усыпанному песком дорожкам или сидят в тени деревьев, беседок, у крашенных столиков и, томясь от жары, пьют чай или прохладительные напитки.

У великолепной дачи Николая Семеныча, с башней, верандой, балкончиком, галереями – все свеженькое, новенькое, чистенькое – стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за пятнадцать «взад-назад», как говорит ямщик, петербургского барина.

Барин этот – известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях, хитро составленных, как будто верноподданнических, а в сущности самых либеральных адресов. Он приехал из города, в котором он, как всегда, страшно занятой человек, пробудет только сутки, к своему другу, товарищу детства и почти единомышленнику.

Они немного только расходятся в способах применения конституционных начал. Петербуржец – больше европеец, с маленьким пристрастием даже к социализму, получает очень большое жалование по местам, которые он занимает. Николай же Семеныч – чисто русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многими тысячами десятин земли.

Они пообедали в саду обедом из пяти кушаний, но от жару почти ничего не ели, так что труды сорокарублевого повара и его помощников, особенно усердно работавших для гостя, пропали почти даром. Покушали только ботвинью ледяную с свежей белорыбицей и разноцветное мороженое в красивой форме и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами. Обедали гость, либеральный врач, учитель детей – студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Николай Семеныч умел держать в узде, Мари – жена Николая Семеныча, и трое детей, из которых меньшей только приходил к пирожному.

Обед был немножко натянут, потому что

Мари, сама очень нервная женщина, была озабочена расстройством желудка Гоги, – так (как и водится у порядочных людей) назывался меньшей мальчик Николай, – и еще оттого, что, как только начинался политический разговор между гостем и Николаем Семенычем, отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свои убеждения, врвался в разговор, и гость замолкал, Николай же Семеныч утишал революционера.

Обедали в семь часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с легким белым вином, и беседовали.

Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том, какие должны быть выборы, двухстепенные или одностепенные, и они горячо начали было спорить, когда их позвали к чаю в защищенную сетками от мух столовую. За чаем шел общий разговор с Мари, которую разговор этот не мог занимать, так как она вся была поглощена мыслью о признаках расстройства желудка Гоги. Разговор шел о живописи, и Мари доказывала, что в дека-

дентской живописи есть un je ne sais quoi [1], которое нельзя отрицать. Она в эту минуту вовсе не думала о декадентской живописи, но говорила то, что говорила много раз. Гостю уже совсем это было не нужно, но он слышал, что говорят против декадентства, и говорил все это так похоже, что никто бы не догадался о том, что ему не было никакого дела до декадентства или недекадентства. Николай же Семеныч, глядя на жену, чувствовал, что она чем-то недовольна и что будет, пожалуй, какая-нибудь неприятность – кроме того, ему очень скучно было слушать то, что она говорила и что он слышал, ему казалось, больше чем сто раз.

Зажгли дорогие бронзовые лампы и фонари на дворе, детей уложили спать, подвергнув больного Гогу лечебным операциям.

Гость с Николаем Семенычем и доктором вышли на веранду. Лакей подал свечи с колпаками и еще нарзану, и начался около двенадцати часов уж настоящий, оживленный разговор о том, какие должны были быть приняты государственные меры в настоящее, важное для России время. Оба не переставая

курили, разговаривая.

Снаружи, за воротами дачи побрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма, и то зевал, то храпел тоже без корма сидевший в коляске старик ямщик, двадцать лет живший у одного хозяина и все свое жалованье, за исключением рублей трех или пяти, которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уж с разных дач стали перекликаться петухи, и особенно один громкий, тонкий в соседней даче, ямщик усомнился, не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в промежутках громко говорил. Он забоялся и пошел отыскивать лакея. Лакей в ливрейном пиджачке сидя спал в передней. Ямщик разбудил его. Лакей, бывший дворovýй, кормивший своей службой (служба была выгодная – пятнадцать рублей жалованья и от господ на чай в год рублей иногда до ста) свою большую семью – пять девок и два мальчика, вскочил и, оправившись и отряхнувшись, пошел к господам сказать, что ямщик беспокоится, просит отпустить.

Когда лакей вошел, спор был в самом раз-

гаре. Подошедший к ним доктор участвовал в нем.

– Не могу я допустить, – говорил гость, – чтобы русский народ должен бы был идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода – свобода политическая – та свобода, как это всем известно, наибольшая свобода, при соблюдении наибольших прав других людей.

Гость чувствовал, что он запутался и что-то не так говорит, но в горячке спора он не мог хорошенько вспомнить, как надо говорить.

– Это так, – отвечал Николай Семеныч, не слушая гостя и только желая высказать свою мысль, которая ему особенно нравилась. – Это так, но достигается это другим путем – не большинством голосов, а всеобщим согласием. Посмотрите на решения мира.

– Ах, этот мир.

– Нельзя отрицать, – сказал доктор, – что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право veto. Я не утверждаю, чтобы это было лучше.

– Позвольте, я доскажу всю мою мысль, –

начал Николай Семеныч. – Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти...

Но пришедший с заспанными глазами в своей ливрее Иван перервал его:

– Ямщик беспокоится...

– Скажите ему (петербургский гость всем лакеям говорил «вы» и гордился этим), что я поеду скоро. И за лишнее заплачу.

– Слушаю-с.

Иван ушел, и Николай Семеныч мог досказать всю свою мысль. Но и гость и доктор слышали, ее двадцать раз (или по крайней мере им так казалось) и стали опровергать ее, особенно гость, примерами истории. Он отлично знал историю.

Доктор был на стороне гостя и любовался его эрудицией и был рад случаю знакомства с ним.

Разговор так затянулся, что стало светло за лесом на другой стороне дороги и соловей проснулся, но собеседники всё курили и разговаривали, разговаривали и курили.

Может быть, разговор продолжался бы еще, но из двери вышла горничная.

Горничная эта была сирота, которая, что-

бы кормиться, должна была поступить в услужение. Сначала она жила у купцов, где приказчик соблазнил ее и она родила. Ребенок ее умер, она поступила к чиновнику, где сын гимназист не давал ей покоя, потом поступила помощницей горничной к Николаю Семенычу и считала себя счастливой, что ее не преследовали более своей похотью господ и платили исправно жалованье. Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая Семеныча.

«Ну, – подумал Николай Семеныч, – верно, с Гогой что-нибудь».

– А что? – спросил он.

– Николай Николаевич что-то нездоровы, – сказала горничная. Николай Николаевич, «они» – это был одержимый поносом обьевишийся Гога.

– Ну и пора, – сказал гость, – смотрите, как светло. Как мы засиделись, – сказал он, улыбаясь, как бы хваля себя и своих собеседников за то, что они так долго и много говорили, и простился.

Иван долго бегал усталыми ногами за шляпой и зонтиком гостя, которые сам гость засу-

нул в самые неподходящие места. Иван надеялся получить на чай, но гость, всегда щедрый и никак не пожалевший бы дать ему рубль, увлеченный разговором, совсем забыл про это и вспомнил только дорогой, что он ничего не дал лакею. «Ну, нечего делать».

Ямщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. Бубенчики звенели. Петербуржец, покачиваясь на мягких рессорах, ехал и думал об ограниченности и предвзятости мыслей своего приятеля.

То же самое думал Николай Семеныч, не сразу пошедший к жене. «Ужасна эта петербургская ограниченная узость. Не могут они выйти из этого», – думал он.

К жене же он медлил входить, потому что от этого свидания теперь не ожидал ничего хорошего. Дело все было в ягодах. Мальчики вчера принесли ягоду. Николай Семеныч купил, не торговавшись, две тарелки не совсем спелых ягод. Дети прибежали, прося себе, начали есть прямо с тарелок. Мари еще не выходила. И когда вышла и узнала, что Гоге дано было ягод, ужасно рассердилась, так как у него желудок уже был расстроен. Она стала

упрекать мужа, он ее. И вышел неприятный разговор, почти ссора. К вечеру, точно, Гога нехорошо ходил. Николай Семеныч думал, что этим кончится, но призыв доктора обозначал, что дело приняло дурной оборот.

Когда он вошел к жене, она, в пестром шелковом халате, который ей очень нравился, но о котором она теперь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда текущей свечкой.

Доктор с внимательным видом, в пенсне, смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое.

– Да, – сказал он значительно.

– Все эти проклятые ягоды.

– Ну отчего же ягоды, – робко сказал Николай Семеныч.

– Отчего ягоды? Ты вот накормил его, а я ночь не сплю, и ребенок умрет...

– Ну, не умрет, – улыбаясь, сказал доктор, – маленький прием висмута и осторожность. Дадим сейчас.

– Он заснул, – сказала Мари.

– Ну, лучше не тревожить, завтра я зайду.

– Пожалуйста.

Доктор ушел, Николай Семеныч остался один и еще долго не мог успокоить жену. Когда он заснул, было уж совсем светло.

В соседней деревне в это самое время возвращались из ночного мужики и ребята. Некоторые были на одной, у некоторых были лошади в поводу и позади бежали стригуны и двухлетки.

Тараска Резунов, малый лет двенадцати, в полушубке, но босой, в картузе, на пегой кобыле с мерином в поводу и таким же пегим, как мать, стригуном, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Пегий сытый стригун сзади взбрыкивал своими белыми в чулках ногами то в ту, то в другую сторону. Тараска подъехал к избе, слез, привязал лошадей у ворот и вошел в сени.

– Эй вы, заспались! – закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дерюжке.

Мать, спавшая рядом с ними, встала уже доить корову.

Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные длинные белесые волосы, Федька же, спавший с ней, все еще лежал,

уткнувшись головой в шубу, и только потирал заскорузлой пяткой высунувшуюся из-под кафтана стройную детскую ножку.

Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернется из ночного.

Он так и сделал. В ночном, сидя под кустом, он падал от сна; теперь же разгулялся и решил не ложиться спать, а идти с девками за ягодами. Мать дала ему кружку молока. Ломоть хлеба он сам отрезал себе и уселся за стол на высокой лавке и стал есть.

Когда он в одной рубашке и портках, быстрыми шагами прокладывая отчетливые следы босых ног по пыли, пошел по дороге, по которой лежали уже несколько таких же, одних побольше, других поменьше, босых следов с четко отпечатанными пальчиками, девки уже красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди на темной зелени роши. (Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку и, не завтракая и не запасшись хлебом, перекрестились раза два на передний угол и побежали на улицу.) Тараска догнал их за большим лесом, только что они

свернули с дороги.

Роса лежала на траве, на кустах, даже на нижних ветвях и кустов и деревьев, и голые ножонки девочек тотчас намокли и сначала за­холодели, а потом разогрелись, ступая то по мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Ягодное место было по сведенному лесу. Девчонки вошли прежде в прошлогоднюю вырубку. Молодая поросль только что поднималась, и между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розовато-белые еще и кое-где красные ягоды.

Девчонки, перегнувшись вдвое, ягоду за ягодкой выбирали своими маленькими загорелыми ручонками и клали какую похуже в рот, какую получше в кружку.

– Ольгушка! сюда иди. Тут бяда сколько.

– Ну? Вре! Ау! – перекликались они, далеко не расходясь, когда заходили за кусты.

Тараска ушел от них дальше за овраг в прежде, за год, срубленный лес, на котором молодая поросль, особенно ореховая и кленовая, была выше человеческого роста. Трава была сочнее и гуще, и когда попадались места

с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой травы.

– Грушка!

– Аась!

– А как волк?

– Ну что ж волк? Ты что ж пугаешь. А я небось не боюсь, – говорила Грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой, и самые лучшие не в кружку, а в рот.

– А Тараска-то наш ушел за овраг. Тараска-а!

– Я-о! – отвечал Тараска из-за оврага. – Идите сюда.

– А и то пойдем, тама больше.

И девчата полезли вниз в овраг, держась за кусты, а из оврага отвертками на другую сторону, и тут, на припоре солнца, сразу напали на полянку с мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и не переставая работали и руками и губами.

Вдруг что-то шарахнулось и среди тишины с странным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам.

Грушка упала от страха и рассыпала до половины кружки набранные ягоды.

– Мамушка! – завизжала она и заплакала.

– Заяц это, заяц! Тараска! Заяц. Вон он, – кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушами мелькавшую между кустов. – Ты чего? – обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся.

– Я думала, волк, – отвечала Грушка и вдруг тотчас же после ужаса и слез отчаяния расхохоталась.

– Вот дура-то.

– Страсть испугалась! – говорила Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом.

Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже вошло и светлыми яркими пятнами и тенями расцветило зелень и блестело в каплях росы, о которую вымокли девчонки теперь по самый пояс.

Девчата были уже почти на конце леса, всё уходя дальше и дальше, в надежде, что что дальше, то больше будет ягод, когда в разных местах послышались звонкие ауканья девок и баб, вышедших позднее и также собиравших ягоды.

В завтрак кружка и горшочек были уже на-

половину полны, когда девчата сошлись с теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки.

– Увязался со мной, – сказала Акулина девочатам, взяв мальчика на руки. – И оставить не с кем.

– А мы сейчас зайца здорового выпугнули. Как затреци-ит – жуть...

– Вишь ты! – сказала Акулина и спустила опять с рук малого.

Переговорившись так, девочки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело.

– Знать, посидим таперича, – сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста. – Уморилася. Эх, хлебушка не взяли, поесть бы теперь.

– И мне хочется, – сказала Грушка.

– Что это тетка Акулина кричит больно чего-то? Чуешь? Ау, тетка Акулина!

– Ольгушка-а! – отозвалась Акулина.

– Чаго!

– Малый не с вами? – кричала Акулина из-за отвершка.

– Нету.

Но вот зашелестели кусты, и из-за отвершка показалась сама тетка Акулина с подобранной выше колен юбкой, с кошелкой на руке.

– Малого не видали?

– Нету.

– Вот грех какой! Мишка-а-а!

– Мишка-а-а! Никто не отзывался.

– Ох, горюшко, заплутается он. В большой лес забредет.

Ольгушка вскочила и пошла с Грушкой искать в одну сторону, тетка Акулина в другую. Не переставая звонкими голосами кликали Мишку, но никто не откликнулся.

– Уморилась, – говорила Грушка, отставая, но Ольгушка не переставая аукала и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам.

Акулинин голос отчаянный слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услышала упорный и сердитый, отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольной. Птица, оче-

видно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на куст, обросший густой и высокой с белыми цветами травой, и под самым им увидела синенькую, не похожую ни на какие лесные травы кучку. Она остановилась, пригляделась. Это был Мишка. И его-то боялась и на него сердилась птица.

Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки под голову и вытянув пухлые кривые ножонки, и сладко спал.

Ольгушка покликкала мать и, разбудивши малого, дала ему ягод.

И долго потом Ольгушка всем, кого встречала, и дома матери, и отцу, и соседям рассказывала, как она искала и как нашла Акулининова малого.

Солнце уж совсем вышло из-за леса и жарко пекло землю и все, что было на ней.

– Ольгушка! Купаться, – пригласили Ольгу сошедшиеся с ней девочки. И все большим хороводом пошли с песнями к реке. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девчата не заметили, как с запада заходила черная низкая туча, как солнце стало скрываться и открываться а как запахло цветами и березовым листом и стало

погромыхивать. Не успели девки одеться, как полил дождь и измочил их до нитки.

В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой, поели и понесли на поле, где отец перепахивал картофель, обедать.

Когда они вернулись и пообедали, рубашонки уж высохли. Перебрав землянику и уложив ее в чашки, они понесли ее на дачу к Николаю Семенычу, где хорошо платили; но на этот раз им отказали.

Мари, сидевшая под зонтиком в большом кресле и томившаяся от жара, увидав девочек с ягодами, замахала на них веером.

– Не надо, не надо.

Но Валя, старший, двенадцатилетний мальчик, отдохавший от переутомления классической гимназии и игравший в крокет с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке и спросил:

– Сколько?

Она сказала:

– Тридцать копеек.

– Много, – сказал он. Он потому сказал «много», что так всегда говорили большие. –

Подожди, только зайди за угол, – сказал он и побежал к няне.

Ольгушка с Грушкой между тем любовались на зеркальный шар, в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады. И этот шар и многое другое было для них не удивительно, потому что они ожидали всего самого чудесного от таинственного и непонятного для них мира людей-господ.

Валя побежал к няне и стал просить у нее тридцать копеек. Няня сказала, что довольно двадцать, и достала ему из сундучка деньги. И он, обходя отца, который только что встал после вчерашней тяжелой ночи, курил и читал газеты, отдал двугривенный девочкам и, пересыпав ягоды в тарелку, напустился на них.

Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок в платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги и собрала белье на речку.

Тараска же, с завтрака пропахивавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого темного дуба, тут же сидел и отец его, поглядывая на спутанную отпряженную ло-

шадь, которая паслась на рубеже чужой земли и всякую минуту могла зайти в овсы или чужие луга.

Все в семье Николая Семеныча было нынче так, как обыкновенно. Все было исправно. Завтрак из трех блюд был готов, мухи давно ели его, но никто не шел, потому что никому не хотелось есть.

Николай Семеныч был доволен справедливостью своих суждений, которая выяснялась из того, что он прочел нынче в газетах. Мари была спокойна, потому что Гога ходил хорошо. Доктор был доволен тем, что предложенные им средства принесли пользу. Валя был доволен тем, что съел целую тарелку земляники.

# Примечания

что-то такое (*франц.*)

[^^^]